

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ

Очерки преступного мира

ФТМ

УДК 82-32
ББК 84(2Рос-Рус)6
Ш18



Шаламов В.

Ш18 Очерки преступного мира : [сборник] / Варлам Шаламов. — М. : «Т8 Издательские Технологии» / «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020. — 149 с. — (Серия «Мировая классика»).

ISBN 978-5-521-74346-9

Трудом жизни В. Т. Шаламова считается цикл рассказов и очерков «Колымские рассказы», повествующий о жизни советских заключенных, состоящий из шести сборников («Колымские рассказы», «Левый берег», «Артист лопаты», «Очерки преступного мира», «Воскрешение лиственницы» и «Перчатка, или КР-2»). В. Т. Шаламов настаивал, что цельными произведениями являются именно сборники с сохранением порядка, в котором расположены рассказы. В эту книгу вошел авторский сборник «Очерки преступного мира».

УДК 82-32
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-521-74346-9

© Шаламов В. Т., наследники, 2020
© Оформление.
ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2020

Об одной ошибке художественной литературы

Художественная литература всегда изображала мир преступников сочувственно, подчас с подобострастием. Художественная литература окружила мир воров романтическим ореолом, соблазнившись дешевой мишурой. Художники не сумели разглядеть подлинного отвратительного лица этого мира. Это — педагогический грех, ошибка, за которую так дорого платит наша юность. Мальчику 14—15 лет простительно увлечься «героическими» фигурами этого мира; художнику это непростительно. Но даже среди больших писателей мы не найдем таких, кто, разглядев подлинное лицо вора, отвернулся бы от него или заклеил его так, как должен был заклеить все нравственно негодное всякий большой художник. По прихоти истории наиболее экспансивные проповедники совести и чести, вроде, например, Виктора Гюго, отдали немало сил для восхваления уголовного мира. Гюго казалось, что преступный мир — это такая часть общества, которая твердо, решительно и явно протестует против фальши господствующего мира. Но Гюго не дал себе труда посмотреть — с каких же позиций борется с любой государственной властью это воровское сообщество. Немало мальчиков искало знакомства с живыми «ми-

зераблями» после чтения романов Гюго. Кличка «Жан Вальжан» до сих пор существует среди блатарей.

Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома» уклоняется от прямого и резкого ответа на этот вопрос. Все эти Петровы, Лучки, Сушиловы, Газины — все это, с точки зрения подлинного преступного мира, — «настоящих блатарей» — «асмодеи», «фраера», «черти», «мужики», то есть такие люди, которые презираются, грабятся, топчутся настоящим «преступным миром». С точки зрения блатных — убийцы и воры Петров и Сушилов гораздо ближе к автору «Записок из Мертвого дома», чем к ним самим. «Воры» Достоевского такой же объект нападения и грабежа, как и Александр Петрович Горянчиков и равные ему, какая бы пропасть ни разделяла дворян-преступников от простого народа. Трудно сказать, почему Достоевский не пошел на правдивое изображение воров. Вор ведь — это не тот человек, который украл. Можно украсть и даже систематически воровать, но не быть блатным, то есть не принадлежать к этому подземному гнусному ордену. По-видимому, в каторге Достоевского не было этого «разряда». «Разряд» этот не карается обычно такими большими сроками наказания, ибо большую массу его не составляют убийцы. Вернее, во времена Достоевского не составляли. Блатных, ходивших «по мокрому», тех, у кого рука «дерзкая», было не так много в преступном мире. «Домушники», «скокари», «фармазоны», «карманники» — вот основные категории общества «урок» или «уркаганов», как называет себя преступный мир. Слово «преступный

мир» — это термин, выражение определенного значения. Жулик, урка, уркаган, человек, блатарь — это все синонимы. Достоевский на своей каторге их не встречал, а если бы встретил, мы лишились бы, может быть, лучших страниц этой книги — утверждения веры в человека, утверждения доброго начала, заложенного в людской природе. Но с блатными Достоевский не встречался. Каторжные герои «Записок из Мертвого дома» такие же случайные в преступлении люди, как и сам Александр Петрович Горянчиков. Разве, например, воровство друг у друга — на котором несколько раз останавливается, особо его подчеркивая, Достоевский, — разве это возможная вещь в блатном мире? Там — грабеж фраеров, дележ добычи, карточная игра и последующее скитание вещей по разным хозяевам-блатарям в зависимости от победы в «стос» или «буру». В «Мертвом доме» Газин продает спирт, делают это и другие «целовальники». Но спирт блатные отняли бы у Газина мгновенно, карьера его не успела бы развернуться.

По старому «закону», блатарь не должен работать в местах заключения, за него должны работать фраера. Мясниковы и Варламовы получили бы в блатном мире презрительную кличку «волжский грузчик». Все эти «мослы» (солдаты), «баклушины», «акулькины мужья», все это вовсе не мир профессиональных преступников, не мир блатных. Это просто люди, столкнувшиеся с негативной силой закона, столкнувшиеся случайно, в потемках переступившие какую-то грань, вроде Акима Акимовича — типичного «фраерюги». Блатной

же мир — это мир особого закона, ведущий вечную войну с тем миром, представителями которого являются и Аким Акимович, и Петров, вкупе с восьмиглазым плац-майором. Плац-майор блатарям даже ближе. Он богом данное начальство, с ним отношения просты, как с представителем власти, и такому плац-майору любовью блатной немало наговорит о справедливости, о чести и о прочих высоких материях. И наговаривает уже не первое столетие. Угреватый, наивный плац-майор — это их открытый враг, а Акимы Акимовичи и Петровы — их жертвы.

Ни в одном из романов Достоевского нет изображений блатных. Достоевский их не знал, а если видел и знал, то отвернулся от них как художник.

У Толстого нет никаких впечатляющих портретов этого сорта людей, даже в «Воскресении», где внешние и иллюстрирующие штрихи наложены так, что художнику за них отвечать не приходится.

Сталкивался с этим миром Чехов. Что-то было в его сахалинской поездке такое, что изменило почерк писателя. В нескольких послесахалинских письмах Чехов прямо указывает, что после этой поездки все написанное им раньше кажется пустяками, недостойными русского писателя. Как и в «Записках из Мертвого дома», на острове Сахалин оглупляющая и растлевающая мерзость мест заключения губит и не может не губить чистое, хорошее, человеческое. Блатной мир ужасает писателя. Чехов угадывает в нем главный аккумулятор этой мерзости, некий атомный реактор, сам восстанавливающий топливо для себя. Но Чехов мог только

всплеснуть руками, грустно улыбнуться, указать мягким, но настойчивым жестом на этот мир. Он тоже знал его по Гюго. На Сахалине Чехов был слишком мало, и для своих художественных произведений до самой смерти он не имел смелости взять этот материал.

Казалось бы, биографическая сторона творчества Горького должна бы дать ему повод для правдивого, критического показа блатных. Челкаш — несомненный блатарь. Но этот вор-рецидивист изображен в рассказе с той же принудительной и лживой верностью, как и герои «Отверженных». Гаврилу, конечно, можно толковать не только как символ крестьянской души. Он ученик уркагана Челкаша. Пусть случайный, но обязательный. Ученик, который, быть может, завтра будет «порченным штымпом», поднимется на одну ступень лестницы, ведущей в преступный мир. Ибо, как говорил один блатной философ, «никто не рождается блатным, блатными делаются». В Челкаше Горький, сталкивавшийся с блатным миром в юности, лишь отдал дань тому малограмотному восхищению перед кажущейся свободой суждения и смелостью поведения этой социальной группы.

Васька Пепел («На дне») — весьма сомнительный блатной. Так же, как и Челкаш, он романтизирован, возвеличен, а не развенчан. Несколько внешних, верных черт этой фигуры, явная симпатия автора приводят к тому, что и Пепел служит недоброму делу.

Таковы попытки изображения Горьким преступного мира. Он также не знал этого мира, не сталкивался, по-видимому, с блатными по-настоящему, ибо это, во-

обще говоря, затруднительно для писателя. Блатной мир — это закрытый, хотя и не очень законспирированный орден, и посторонних для обучения и наблюдения туда не пускают. Ни с Горьким-бродягой, ни с Горьким-писателем никакой блатной по душам не разговорится, ибо Горький для него прежде всего — фраер.

В двадцатые годы литературу нашу охватила мода на налетчиков. «Беня Крик» Бабеля, леоновский «Вор», «Мотъкэ Малхамовес» Сельвинского, «Васька Свист в переплете» В. Инбер, каверинский «Конец хазы», наконец, фармазон Остап Бендер Ильфа и Петрова — кажется, все писатели отдали легкомысленную дань внезапному спросу на уголовную романтику. Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также и всеми не упомянутыми авторами произведений на подобную тему, они имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.

Дальше пошло еще хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны, 120 писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале, книга издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где дра-